

# ФИЛОСОФИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

DOI: 10.17212/2075-0862-2021-13-2.1-213-236

УДК: 001.891.32

## РОССИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

**Коковин Иван Сергеевич,**

*кандидат философских наук,*

*доцент кафедры философии и гуманитарных наук*

*Новосибирского государственного университета экономики и управления «НПХ»,*

*Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56*

*Ivan.kokov80@gmail.com*

### Аннотация

Исследование посвящено философскому осмыслению проблемы социокультурных истоков российской философии. Причиной наблюдаемого нами разнообразия современных подходов к феномену русской философии выступает прежде всего отсутствие единого методологического подхода. Разнонаправленность исследований феномена истоков русской философии также является следствием подверженности исследователей различным методологическим влияниям. В статье ставится задача обозначить ряд историко-философских, исторических, литературоведческих подходов к проблеме генезиса российского Просвещения XVIII столетия. Необходимо прояснить механизмы и процедуры рецепции западноевропейских идей и концептов социокультурным пространством России. На основе оригинального подхода к современным исследованиям процессов адаптации терминов естественного права прослежены тенденции реконструкции феномена Просвещения в России. Отмечено, что их разнообразие порождено состоянием социокультурного бэкграунда гуманитарных исследований. Выявлен ряд существенных особенностей процесса реконструкции становления идеологии Просвещения на русской почве, среди которых представление о том, что европейские понятия, концепты и теории усваиваются отечественной семиосферой в том виде, в котором они существовали в культуре Запада. Отмечена убежденность исследователей в том, что в России XVIII столетия уже была национальная философия. Выявлено отсутствие аналитического интереса к проблемам трансформации языка выражения политических явлений. В этом же ряду расположено и представление о том, что процесс рецепции просветительского наследия Запада имел революционную, а не эволюционную специфику, и был лишен культурных предпосылок.

На материале исторических и историко-философских исследований рассматриваются возможности построения методологически цельной ре-

конструкции, хронологически охватывающей весь XVIII в. В основе методологии исследования лежит подход, включающий в себя аналитическое описание проблем тематических полей дискурса, концептов и теорий Просвещения на русской почве. Результатом анализа является систематизация противоречий процесса анализа феноменов российского Просвещения в XVIII в.

**Ключевые слова:** российское Просвещение, национальная философия, адаптация политических понятий, история терминов, идеология Просвещения, социокультурный бэкграунд.

**Библиографическое описание для цитирования:**

Коковин И.С. Российское Просвещение как источник формирования национальной философии // Идеи и идеалы. – 2021. – Т. 13, № 2, ч. 1. – С. 213–236. – DOI: 10.17212/2075-0862-2021-13-2.1-213-236.

Существуют как минимум два метода определения идентичности национальных философий. В первом случае в качестве критерия различия используются географический критерий в совокупности с языком как определители пределов семиосферы. Именно по этим признакам выделяется древнеиндийская, древнекитайская, древнегреческая философии. В втором случае идентификатором является принадлежность мыслителя к той или иной школе философии или традиции. Тогда границы географические и границы языкового дискурса могут и не совпадать.

В советское время в среде историков и историков философии был популярен именно второй подход, когда мыслитель идентифицируется по отношению к традиции и институции, которую он представляет (школы или течения мысли), вне зависимости от национальной принадлежности и языка. Тогда российская (русскоязычная) философия представляет собой совокупность ответвлений и приложений («филиалов») инородной мысли.

Общей чертой обоих подходов является акцентирование внимания на проблеме речевых средств выражения смысла. Очевидно, идентификатором национальной философии является язык выражения смыслов, однако не всякая письменная речь способна передать абстрактное содержание философских концептов или теорий.

Следует заметить, что проблема самоидентификации национальной философии генетически связана с феноменом ее периодизации. Какой именно исторический период можно считать отправной точкой истории русской философии? На данный вопрос не может быть дан единственный исчерпывающий и однозначный ответ. Историография русской философии содержит три основных варианта решения проблемы ее периодизации. Так, И.Я. Щипанов полагает, что философия в России появляется

в период принятия христианства, а первым философским памятником является Изборник. Т.В. Артемьева, И.И. Евлампиев полагают, что процесс становления русской национальной мысли связан с Петровскими преобразованиями, и XVIII в. являлся эпохой рождения национальной русской философии (в трудах М.В. Ломоносова находят элементы онтологических учений [1]). Представители третьего направления (Г.Г. Шпет, О.А. Донских) полагают, что оригинальная русская мысль появляется в России только в период первой четверти XIX в. (эпоха дискуссий западников и славянофилов), а первым подлинно философским текстом являются «Философические письма» П.Я. Чаадаева [11].

Мы полагаем, что процесс становления национальной мысли неразрывно связан с трансформацией языкового пространства, сделавшей возможным усвоение абстрактных терминов и идей. Предпосылками формирования философских теорий на русской почве могут являться предмет мысли, язык выражения концептов Просвещения и социальная среда, породившая потребность в рефлексии.

Общепризнано, что российская философия является вторичной по отношению к западноевропейским культурным источникам. Инородные идеи и концепты переносились из чуждой культурной среды, укоренялись, а позже использовались образованной элитой общества. Однако проблема понятийной рецепции плодов европейской философской мысли российским культурным пространством, как правило, находилась вне границ исследовательского пространства истории, лингвистики, литературоведения и истории философии. Основной целью автора статьи является обзор научной литературы, содержащей анализ процессов терминологической рецепции элементов западноевропейского философского дискурса российскими культуртрегерами XVIII в. Задача выявления аналитических подходов, позволяющих реконструировать феномен становления понятийного инструментария абстрактной мысли, обусловила выбор работ историков и литературоведов дореволюционного, советского и постсоветского периодов.

Формат статьи не позволяет дать исчерпывающий обзор литературы, включающей анализ процессов рецепции элементов западноевропейской философской рефлексии. Мы рассмотрим лишь характерные тенденции, содержащиеся в исследовательской литературе дореволюционного, советского и постсоветского периодов.

Одним из ярких представителей дореволюционной историографии XVIII в. был А.Н. Пыпин, анализировавший процесс становления масонских организаций на русской почве [9]. Исследуя проблемы мотивации российского масонства, А.Н. Пыпин писал о стремлении литераторов создать в России литературу и журнальную критику по западноевропей-

ским образцам. «Всё это было пылким, но еще очень неопределенным стремлением усвоить европейское образование, которое становилось перед обществом, как неизбежный и могущественный авторитет» [9, с. 77]. Инициатива по созданию нового формата образования исходила от правящих кругов Империи, однако общество обретает свои собственные мотивы в отношении к образованию и культуре. «Нравственные понятия начинают образовываться независимо от подобных официальных указаний, и общество уже само начинает искать себе идеалов и руководящих идей» [9, с. 77].

Русское сообщество образованных людей стремилось к освоению как европейской мистики, так и рациональной философии. По мнению историка, уровень развития русской культуры не способствовал усвоению западных идей в том виде, в котором они были сформированы в Европе. «Основные понятия масонства английской системы, конечно, должны были совершенно затеряться среди таких занятий алхимической мудростью и еврейской каббалистикой: Елагин бродил здесь как в лесу, и все масонские понятия превратились у него в почти им понимаемый мистицизм и в проповедь смирения и повиновения, ту же проповедь, которая казалась самому Елагину “суеверным пустосвятством”» [9, с. 136].

Сходные тенденции были характерны и для кружка Н.И. Новикова. По мнению А.Н. Пыпина, «силы русского общества были еще очень невелики, положительное образование крайне слабо, так что эти люди, задавши себе серьезные вопросы религии, нравственности и общественных обязанностей, стали легкой добычей мистического пиетизма и фантазерства, которые вообще легче всего овладевают мало вооруженными умами» [9, с. 136]. Историк полагал, что ни мистицизм, ни вольтерьянство не имели в России никаких корней, не опирались «на собственные, логически обдуманые мысли» [9, с. 136]. Основную причину неподготовленности культурной почвы в России А.Н. Пыпин видел в недостаточной образованности русского дворянства и в отсутствии научных и академических институций.

Следствием необразованности стало увлечение мистикой: «Люди с строгим логическим умом, или владевшие точными знаниями, не могли быть масонами мистического толка. Императрица Екатерина, по положительности своего ума, должна была не любить масонство, — хотя бы оно и не возбуждало в ней политических подозрений. С другой стороны, оно должно было быть популярно между умами, вышедшими из простого невежества, но еще мало воспитанными настоящей наукой» [9, с. 177].

Знания, порожденные европейской культурной средой, усваивались не в полном объеме, рецепция имела избирательный характер. «Образование наше было вообще заимствованное, и из тех различных форм и направле-

ний, которые к нам приходили из европейского источника, оно усваивало более или менее..., что было по вкусу и силам» [9, с. 177].

Из данной посылки должен был вытекать вывод о невозможности создания полноценной национальной науки и философии. А.Н. Пыпин акцентирует внимание на отсутствии цельной системы взглядов и общей доктрины, которая могла бы быть использована масонской средой. Специфика масонского мировосприятия исключала возможность возникновения «цельной системы понятий» [9, с. 215]. Но масоны не обладали и цельной мистической доктриной, это была «туманная теософия», их представления были лишены всякой «серьезной научной опоры» [9, с. 215]. Анализируя мировоззрение Н.И. Новикова, А.Н. Пыпин отмечает отсутствие у него «элементарных научных сведений», что способствовало развитию «челепых суеверий» [9, с. 215].

По мнению историка, масонская идеология базировалась на элементах христианской мистики и аскетизма, а не философии просветителей и научном мировоззрении (причины им не исследуются). Незрелость терминологического инструментария естественных наук способствовала подмене химического знания алхимической мистикой, так как алхимический язык смешивает понятийный аппарат материального химического процесса с терминологией нравственной и метафизической [9, с. 222]. А.Н. Пыпин акцентирует внимание на неподготовленности общества к восприятию результатов европейской науки и философии просветителей, однако сами процессы трансформации культурной почвы (литературного языка), сделавшие возможным усвоение элементов западноевропейского наследия, находились вне сферы его исследовательских интересов.

Известным дореволюционным исследователем проблем рецепции идеологии масонства в России был Г.В. Вернадский. Анализируя проблемы становления масонской идеологии в России, историк перечисляет переводные сочинения, пользовавшиеся популярностью в этой среде. Вернадский упоминает труды Додсли, Гофмана, Шпалдинга, Эпиктета, Сенеки. По мнению историка, корпус текстов перечисленных авторов представлял собой теоретический фундамент масонского мировоззрения, которое было охарактеризовано автором как философское. «Мировоззрение русских масонов 1770-х гг. вполне может быть названо “философским” – в смысле философии XVIII века. Постичь “законы разума” и на основании законов построить жизнь своего духа и тела – такова цель, стремление к которой проповедовалось в масонских организациях» [3, с. 141]. Анализируя процессы усвоения русскими масонами западноевропейских текстов, Г.В. Вернадский констатирует факт культурного калькирования. «Все речи как самого Карнеева, так и его учеников насквозь пропитаны мыслями Бема, “Пастырского Послания”, “Теоретического градуса”, г-жи Гюй-

он. Заимствованы самые темы и целые выражения» [3, с. 182]. Но специфика процесса заимствования находилась вне сферы исследовательских интересов историка.

Анализируя феномен отношения русских масонов к французской философии, Г.В. Вернадский излагает лекцию Шварца о Гельвеции, в которой российский мистик атакует материализм французского мыслителя. В ней ярко отразилась специфика восприятия образованным сообществом плодов европейской философии. «Живучи так, как жил Гельвеций, в довольном состоянии, в изобилии, в употреблении единственно только ума своего и пресыщении желудка (все сие беру я из его Истории или из слов тех, кои или его персонально знали, или верно о нем слышали от его знакомцев), не можно и подозревать о бытии ментального человека, ибо сей исчезает, когда оные царствуют; вышедши же из чувственного или, попросту сказать, из брюховного мира, и обратясь к ощущению внутренняго морального человека, нельзя не признать ошибок – и грубых ошибок – французского философа: понеже, как скоро вознесемся мы выше нашего брюха, то войдем в мир спекулативный» [3, с. 189].

Вернадский акцентирует внимание читателя на неприятии русским масонством плодов французского Просвещения. Так, П.Л. Сафонов составил список «Членов академии развратителей», в числе которых Вольтер, Д'Аламбер, Дидро, Гельвеций, Тюрго, Кондорсе, Гримм, Гольбах и др. По мнению Вернадского, «ниспровергнуть высоко стоящий авторитет разума – первая часть задачи истинного масона. Другая часть этой задачи – отделаться от всех «элементальных, или стихийных» качеств, вырваться из «брюховнаго мира», чтобы приблизиться к «ментальной» сущности человека [3, с.195].

Вероятно, масонов и французских просветителей разделяло отношение к проблеме рациональности и материализма. Второй причиной могло являться недопонимание масонами специфики французской мысли, порожденное неразвитостью понятийного инструментария русской литературной речи.

Вернадский анализирует восприятие масонами идей естественного права. Носителями естественно-правовой идеологии были представители елагинской ложи. По их мнению, отношения между людьми должны слагаться по «разуму законов» [3, с. 217]. Согласно представлениям масонов, «люди одарены разумом, который поучает, что делать и как поступать нам; а потому и имеем общий естества закон; естли ж общий закон мы имеем, то мы и сограждане; а есть ли сограждане, то общее и право мы имеем одно право гражданства, должны почитать свет одним и общим роду человеческому городом» [3, с. 217].

Значительный интерес представляет изложение Вернадским взглядов М.М. Щербатова. Комментируя работу П.А. Гольбаха «Естественная по-

литика», историк екатерининского периода писал: «Истинные основания правления суть ясны, ощутительны, и доказаны всеми теми, которые размышляли о сих важных причинах; они обретают, что здравая политика не имеет ничего сверхъестественного, ни таинственного, и что восходя к естеству человеческому, можно сделать политическую систему из собрания истин, совершенно связанных между собою, и цепи толь же верных правил, яко в какой другой науке познаний человеческих» [3, с. 218]. Князь Щербатов выстраивает связь между естественным правом и добродетелью. «Никакой народ не может быть щастлив, если он не управляем естественными законами, которые всегда к добродетели ведут. Никакой государь не может быть велик, могуществен и щастлив, если не со правосудием царствует над благоразумным народом» [3, с. 218].

По мнению Г.В. Вернадского, «в области социально-политических идей для этого типа русского масонства характерны идеи естественного права и физиократизма» [3, с. 500]. В воззрениях русского масонства отсутствует конфликт между естественным правом, разумом и добродетелью. Тенденция к противопоставлению политики, основанной на морали и благоговении перед монархом, и естественно-правовой стратегии легитимации власти правителя начинает доминировать в России после Пугачевского бунта. Значительную популярность в масонских кругах обретают сочинения Сен Мартена, содержавшие критику естественно-правовой доктрины с позиций патернализма. Описание государства в терминах семейной общины и отождествление монарха с отцом являлось характерной чертой дискурса российских розенкрейцеров. Стратегия легитимации господства царя с опорой на концепт добродетели являлась секуляризованной формой архаичных представлений о государстве, характерных для XVI и XVII вв. Русские масоны выбирают из наследия европейских розенкрейцеров лишь те элементы, которые позволяют создать апологию власти «святого царя», своеобразного отца нации. Рационалистическая направленность западно-европейской политической теории вызывала в масонской среде резкое неприятие. «Философская тяжба с разумом превращалась в политическую борьбу против безбожия и вольнодумства» [3, с. 259].

Вернадский писал о переводах на русский язык иностранных текстов, но он не анализировал процессы рецепции смыслов, отбора тем, не интересовался процессом эволюции терминов для перевода и семиотической трансформации, благодаря которой восприятие европейских доктрин стало возможно.

Значительное влияние на процесс складывания историографии проблем рецепции философских и политических идей российским образованным сообществом оказали работы советских историков, филологов, лингвистов и историков мысли.

Известный советский литературовед Г. Гуковский анализирует проблему отношения российской культурной элиты к феномену западноевропейского наследия. «Дворянская библиотека XVIII века, как правило, в основном состояла из иностранных книг. Имея возможность непосредственно общаться с более развитой западной культурой, дворянский интеллигент высшего слоя видел в русской литературе уже только чисто идеологическую среду реализации своего национально-классового самосознания, известный национальный и тактический придаток к своей западной культуре» [4, с. 15]. Он констатирует факт вторичности дворянской и разночинной культуры по отношению к западной: «Козельский свергает авторитеты; он требует на всё доказательств, опыта, разумного убеждения. Он увлечен идеями Руссо и в то же время Гельвеция. Он сенсуалист и явно склоняется к материализму» [4, с. 35]. «Немало места уделяет Ф. Козельский проблемам этики, разрешая их в духе передовых идей французских просветителей» [4, с. 67]. «Он хорошо усвоил Руссо, так же как, с другой стороны, Гельвеция (“Гельвеция читай, Монтескию, Вольтера” – советует он)» [4, с. 15].

Во второй половине XVIII в. при участии Хераскова начинают появляться сборники «Переводы из Энциклопедии». «Отбор статей для этого издания характерен; в основном тут даны невинные темы: о словопроизведении, наррация, одежды римлян, гамак, баня, желчь, пальцы и т. д. И лишь несколько статей иного типа: право естественное, экономия, нравоучение (переводчики – бр. Нарышкины). В целом получалась видимость издания для русского читателя знаменитой книги, гонимой во Франции, видимость “свободомыслия” властей, а особого “соблазна” для читателя на самом деле не было» [4, с. 47]. По мнению Г. Гуковского, выбор переводчиков был обусловлен политической конъюнктурой. Гуковский не пишет о процессе рецепции западной философии непосредственно, он лишь констатирует факт появления переводов работ французских энциклопедистов. Проблема трансформации семиосферы (благодаря которой сам перевод стал возможен) находилась вне границ его исследовательского дискурса.

Анализируя культурное пространство екатерининской России, Гуковский писал о недостаточной образованности дворянской элиты. Он полагал, что «Радищев был последним и наиболее блестящим из плеяды мыслителей-энциклопедистов XVIII столетия в России. Вообще говоря, большая научная подготовка в XVIII веке не была, как правило, уделом русских дворян, особенно подготовка в области философии и подготовка в области точных и естественных наук» [4, с. 129]. Гуковский не отрицает факта наличия в России блестяще образованных аристократов (Щербатов, Львов, Карамзин). «Но всё же это была культура суженная, – и не только по линии узости дворянской консервативности, искажавшей истинные соотношения вещей, а и по фактическому объему и содержанию знаний» [4, с. 129].



По мнению советского исследователя, из всех русских интеллектуалов конца XVIII в. лишь Радищев обладал познаниями во всех областях науки и философии. «Он несколько не пассивный ученик» [4, с. 131]. Круг источников радищевского мировоззрения не ограничивается элементами теорий французских просветителей. «Он черпает не только из французских традиций, но и из английской. Наконец, он осложняет механистическую систему французского энциклопедизма исторической динамической концепцией, выросшей на почве германской философии, английской исторической науки и политической экономии» [4, с. 131]. Рассуждая о феномене мировоззрения Радищева, Г. Гуковский использует словосочетание «русская почва». «В итоге мы имеем в “Путешествии” и в других произведениях Радищева своеобразную концепцию философского и социально-политического мировоззрения, выросшую на русской почве, хотя и вобравшую все передовые элементы западной мысли» [4, с. 131]. В процессе исследования советский литературовед описывает специфику революционности Радищева в понятиях доминировавшей эпистемологической парадигмы. «Путешествие из Петербурга в Москву» было «рупором народного протеста и гнева, в наименьшей степени преломленного сквозь призму буржуазности, в силу специфических русских условий» [4, с. 131]. Мы видим, что феномен культурной почвы интерпретируется исследователем в терминах марксистской теории. Ее специфика заключается в том, что результаты европейской культуры попадают в пространство народной революционности и обретают более радикальную окраску.

Анализируя эволюцию радищевского мировоззрения, Гуковский писал о творческой переработке писателем элементов западноевропейской мысли. «Теории естественного права и общественного договора претерпели в его руках существенное изменение именно в силу того, что он становится на путь исторического осмысления фактов государственного и социального вообще бытия человечества» [4, с. 160]. Советский литературовед писал о процессе укоренения элементов руссоизма на «почве русской действительности». «Но те осложнения и видоизменения, которые Радищев внес в заимствованное у Руссо, он взял не у французов вообще. Строго говоря, он ниоткуда не взял эти особенности своего мышления, но создал их на почве русской действительности» [4, с. 161].

Значительной заслугой Г. Гуковского является открытие феномена зависимости между выразительным потенциалом русской литературной речи и способностью к рецепции элементов европейской философии. «Впервые возникшая в России философская мысль требует для выражения сложных связей идей и понятий сложного построения фразы. Новизна самих понятий и новое освещение старых требуют словаря необычного, соответствующего новизне этих понятий» [4, с. 224]. Для выражения нового

идеологического содержания использовались церковная речь и старославянский язык проповеди. Но проблема адаптации и трансформации российского семиотического пространства находится вне границ исследовательского дискурса Г. Гуковского.

Рассуждая о процессе рецепции идей европейских просветителей на русской почве, он констатирует факт заимствования Козельским, Десницким и Радищевым элементов наследия Руссо, Гельвеция или Мабли (подобно предшественникам, он описывал это явление в терминах «ножниц и клея»). Сама проблема способности русской культуры к адаптации западных идей была им поставлена, однако Г. Гуковский не был склонен детально анализировать феномен трансформации языковой почвы.

Значительный вклад в изучение русского Просвещения внес Е.Г. Плимак. Интерпретация проблем рецепции западноевропейского наследия сообществом образованных россиян сформировалась у него под влиянием работ Г. Гуковского. Советский историк полагал, что Радищев подверг творческой переработке идеи Рейналя, Мабли и Руссо. Согласно его оригинальной концепции, не было прямого, механического заимствования русским писателем идей Рейналя. «Принципиальная узость формулы (заимствования) не подлежит сомнению. Формирование мировоззрения она сводит к простому заимствованию тех или иных идей, берет западные источники концепции мыслителя в отрыве от русских, не показывает характера переработки прогрессивной антифеодалной идеологии Запада на русской почве» [6, с. 82].

Рассуждая о феномене «переработки», Е.Г. Плимак имеет в виду отбор Радищевым наиболее радикальных по политическому содержанию элементов теорий западных просветителей. Идеи европейских мыслителей становились частью революционной доктрины российского писателя. «Радищев применил достижения европейской философии к русской действительности, к условиям борьбы русского народа за свободу» [6, с. 82]. И далее: «Буржуазные – в западноевропейском аспекте – идеи его преломлялись в этих условиях в том смысле, что в них акцентировались именно элементы народного, т. е. в условиях его времени – прежде всего крестьянского мировоззрения» [6, с. 83]. По мнению советских исследователей, именно «почва» – крестьянское мировоззрение – обусловила восприятие Радищевым наиболее радикальных элементов теории Рейналя, Гельвеция и Мабли. По мнению Е.Г. Плимака, в своем революционном радикализме Радищев значительно превзошел европейских просветителей.

Признавая как рецепцию, так и творческую переработку европейских политических и философских идей, попавших на русскую почву, анализ самого процесса рецепции Е.Г. Плимак сводил к констатации факта попадания европейских идей в российский социально-политический контекст.

«Вопрос о “почве”, на которой выросла революционная концепция Радищева, решается, очевидно, следующим образом. Она была обобщением краха политики “просвещенного абсолютизма” Екатерины II, – краха, нашедшего предельное выражение в Крестьянской войне 1773–1775 гг., обобщением опыта революций нового времени, показавших, что идеалы “вольности” утвердит сам восставший народ» [8, с. 65]. Распад иллюзий о просвещенном монархе обусловил отбор текстов, при котором более умеренные труды французских энциклопедистов уступили место манифестам американских и французских революционеров. Специфика проблемы вербального оформления и смысловой трансформации заимствованных философских и политических понятий находилась вне сферы исследовательского дискурса Е.Г. Плимака.

Ярким представителем советской историографии российского Просвещения XVIII в. являлся Л.А. Дербов. В работе «Общественно-политические и исторические взгляды Н.И. Новикова» он анализирует проблему заимствования русским просветителем элементов западноевропейской философии. По мнению Дербова, Новиков разделял естественно-правовую теорию происхождения государства, характерную для просветителей XVIII в. «Как и другие просветители, он считал, что власть возникает из договора между правителем и народом, вручается государю для блага подданных, для удовлетворения нужд народа. Она должна основываться на принципах справедливости и кротости, строгом соблюдении законов. В случае, если государь нарушит эти принципы и сделается тираном, деспотом – договор разрушается и подданные освобождаются от всяких обязательств перед ним» [5, с. 215].

По мнению Л.А. Дербова, политические воззрения русских просветителей отличались незрелостью. «Политическая мысль русских просветителей второй половины XVIII века созревала медленнее, чем их общественные взгляды. В то время она направлялась не столько на поиски конкретных путей и форм коренных государственных преобразований, которые еще не назрели, сколько на выяснение философских и нравственных основ разумного и справедливого строя, понимаемого более или менее абстрактно» [5, с. 215]. Подобно большинству французских просветителей, российская образованная элита не была ориентирована на республиканский политический идеал (вера в просвещенного монарха). «Лишь Радищев смог подойти к правильному пониманию истинной роли “самодержавства” как явления глубоко чуждого и враждебного самой природе человека» [5, с. 216]. Проводя параллель между французским и русским Просвещением, Л.А. Дербов не анализирует проблему соотношения заимствованных и аутентичных элементов мировоззрения отечественных просветителей.

Подобно западноевропейским мыслителям, русские масоны осуждают деспотизм и тиранию, они верят в возможность перевоспитания монарха. «В этом отвлеченном морализировании сказывались и незрелость политической мысли просветителей типа Новикова, и бесспорное влияние непротивленческих тенденций масонства» [5, с. 218]. Советский исследователь не был склонен детально анализировать адаптацию русским филантропом элементов доктрины германских розенкрейцеров. По мнению Л.А. Дербова, Новиков был таким же носителем естественно-правового идеала, как и многие другие просветители. Если монарх становится «расхитителем народа», «неповиновение такому правителю-деспоту будет законным и справедливым поведением народа, использующего свое естественное гражданское право» [5, с. 219].

Значительный исследовательский интерес Дербова привлекал государственный идеал Н.И. Новикова. По мнению советского исследователя, русский масон считал оптимальным типом государства монархию. «То будущее, справедливо устроенное государство свободных тружеников, о котором утопически мечтал Новиков, мыслилось им, по всей вероятности, не в форме республики, а в виде внесловной и “просвещенной” конституционной монархии с “разумными” законами и народным представительством» [5, с. 223]. Вероятно, концепт «общей пользы», который лежал в основании политической доктрины масона, был заимствован Новиковым у Руссо. Следует заметить, что государственный идеал русского филантропа может быть соотнесен с проектами французских энциклопедистов, однако происхождение политических ценностей Новикова Л.А. Дербов детально не рассматривал.

Анализируя процессы трансформации общественного сознания в России XVIII в., советский историк обнаруживает появление новых терминов иноязычного происхождения. «Просветительство второй половины XVIII века было тесно связано с формированием русской нации и развитием русской национальной культуры. Именно в это время широкое распространение в обществе получили такие значительные понятия, как “нация”, “гражданин”, “патриотизм”, “отечество”» [5, с. 243].

Однако проблема трансформации смыслов и адаптации языкового пространства находилась вне сферы его исследовательских интересов. Н.И. Новиков осуждал использование французских слов и понятий, считая выразительные способности русской литературной речи достаточными [5, с. 252]. Но проблема рефлексии русского масона над языком, его выразительным потенциалом в настоящее время остается неисследованной.

По мнению Л.А. Дербова, Н.И. Новиков инициировал переводы текстов Мармонтеля, Руссо, Рейналя и других европейских просветителей, в отзывах он «пропагандировал» передовые идеи французского Просвеще-

ния [5, с. 262]. Работая над педагогическими сочинениями, русский масон использовал элементы теорий Локка, Руссо, отчасти Дидро, Гельвеция, Гольбаха [5, с. 268]. Но проблема отбора российским просветителем иноязычных философских текстов (следствием которых была рецепция смыслов) Дербовым не только не решена, но и не поставлена.

Анализируя процесс адаптации российским образованным сообществом концепции географического детерминизма политических режимов, законов и обычаев, Л.А. Дербов отмечает заимствования Новиковым и его окружением элементов теории Монтескье. «Как полагает автор одной из статей в журнале “Утренний свет”, южные народы, ограниченные морями, редко выходят из “своего пояса”, зато северные – под влиянием климата, “сжимающего тело”, более закалены в смысле трудов и опасностей войны и поэтому более воинственны: “разогревая умы”, они стремятся на юг» [5, с. 280].

Проблема отбора российским просветителем текстов Монтескье анализируется историком в терминах борьбы с космополитизмом, инородным влиянием и пр. Основной тенденцией исторических исследований Л.А. Дербова является констатация заимствования Новиковым и другими русскими масонами элементов доктрины французских просветителей. При этом советский историк оставляет за рамками аналитического дискурса как процесс отбора франкоязычных текстов масонами, так и проблему адаптации смыслов российским культурным пространством.

В постсоветский период концепции механического внесения элементов западноевропейской мысли в российский культурный контекст уступили место теории постепенной трансформации семиосферы. Было признано, что культурное пространство обладает некой избирательностью. Попытки реконструировать этот процесс были предприняты Ю.М. Лотманом, Е. Марасиновой, А.В. Гордоном, К.Д. Бугровым, М.А. Киселевым.

Два последних исследователя эксплицируют свое понимание проблемы в работе «Естественное право и добродетель» [2]. Согласно их оригинальному подходу «невозможно рассматривать процесс трансфера как прикосновение царя Мидаса» [2, с. 8]. Важной предпосылкой процесса рецепции должен был являться перевод книг представителей западноевропейского Просвещения на русский язык (переход от рукописных переводов к печатным). Накопление в частных библиотеках работ европейских авторов способствовало формированию нового типа политической ментальности. Однако процесс этот не был линейным, поскольку сознание российских культуртрегеров (как и культурное пространство в целом) обладало определенной избирательностью.

Предметом исследования К.Д. Бугрова и М.А. Киселева являются процессы усвоения российскими интеллектуалами двух легитимирующих стратегий, характерных для европейского политического пространства.

Первая объясняет претензии государя на власть с помощью концепции естественного права, вторая содержит апологию добродетельного монарха (где именно моральные достоинства и являются источником власти правителя). Сами авторы интерпретируют проблему идеологических трансформаций как маятниковое движение: «от Монтескье к Фенелону и обратно». Популярные в середине столетия естественно-правовые стратегии легитимации уступили место рассуждениям о благотворности господства добродетельного царя, достоинства которого образуют культурный фундамент его власти.

Авторы акцентируют внимание читателя на необходимости изучения не только общекультурного контекста, но и конкретного глоссария, при помощи которого интеллектуалы XVIII в. выражали свои взгляды на власть и общество. Процесс конструирования концептуальных рамок требовал использования новых политических понятий. «Преобразования политической культуры в России XVIII в. были, по нашему мнению, связаны с постепенной адаптацией на российской почве целого ряда таких концептуальных глоссариев (языков, манер речи, дискурсов – назовите как хотите), открывавших возможности для того, чтобы по-новому говорить о политике. Каждый такой глоссарий не предполагал резко очерченной доктрины, а был скорее инструментом, позволявшим доказывать ту или иную точку зрения или интерпретировать те или иные предметы особым образом» [2, с. 9].

К.Д. Бугров и М.А. Киселев реконструируют процесс рецепции западноевропейского естественного права культурным пространством петровской России. Специфические особенности российской семносферы не позволяли политической элите усвоить плоды европейской юриспруденции и социальной философии. По мнению авторов, европейская правовая теория развивалась выпускниками юридических факультетов, а язык правовой теории развивался начиная со Средних веков [2, с. 93]. Таким образом, проблема восприятия юриспруденции в России в начале XVIII в., включая и естественное право, была генетически связана с проблемой развития языка. «Если конкретные иностранные законодательные акты в целом можно было понять через соотнесение с той или иной управленческой практикой и, соответственно, адаптировать для применения в России, то с трактатами по юриспруденции такую операцию было проделать несравненно сложнее. Для этого надо было не только понимать язык оригинала и разбираться в его юридических понятиях, но и фактически сконструировать российский язык юриспруденции. При этом не стоит забывать, что дополнительные трудности создавала диглоссия, то есть одновременное функционирование церковнославянского и русского языков, когда переводчик должен был выбирать, понятие из какого языка лучше использовать при переводе» [2, с. 93].

Неспособность российского культурного пространства к восприятию результатов процесса развития естественно-правовой мысли препятствовала усвоению представителями политической элиты России нововременной идеологии господства. Первый российский император интересовался исторической и политической литературой своего времени, но интерес к восприятию юридической теории не был у него сколько-нибудь выражен. «Подобную незаинтересованность невозможно, например, объяснить нехваткой у Петра времени заниматься чтением соответствующих работ или организацией их переводов. Как показывают его хлопоты о распространении в России исторических книг, а также личное участие в создании «Истории свейской войны», он при желании находил возможность способствовать выпуску многих других полезных и нужных, по его мнению, книг» [2, с. 102]. Другими словами, процесс рецепции элементов естественно-правовой идеологии Запада семиотическим пространством России XVIII в. может быть описан наложением субъективного интереса читателя на объективную культурную ситуацию.

Согласно представлениям К.Д. Бутрова и М.А. Киселева, отдельные попытки заимствования естественно-правового взгляда на политику могут быть обнаружены в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским, но подлинная революция произошла в XVIII столетии. История процесса рецепции исследуется историками на протяжении всего столетия. Авторы констатируют факт эволюции семиотического пространства, происходившей в России на всем протяжении столетия, начиная от эпохи Петра Великого и заканчивая последними десятилетиями екатерининского правления. Стержневой тенденцией обозначенного процесса была ориентация на европейские образцы. Проект «верховников» не апеллировал к опыту Земских соборов XVI–XVII вв. или попыткам ограничения самодержавия в эпоху Смуты [2, с. 297]. Находившиеся в «проекте общества» предложение созыва «сейма», как и употребление формулы «форма правления», свидетельствует скорее об обращении к опыту соседней Польши и других стран, чем к отечественной традиции. «Даже у В.Н. Татищева в его концепции развития политической системы России главным стержнем явилась борьба монархии с аристократией. Однако именно ученость, которую этот артиллерийский офицер и управляющий горных заводов приобрел в результате самообразования, и привела к тому, что Татищев использовал при оценке политических реалий такие понятия, как монархия, аристократия, форма правления, а не понятия из политического языка Московского государства» [2, с. 297]. Такие политические термины в России второй половины XVIII в. «были новациями, которые постепенно адаптировались как интеллектуальными, так и правящими элитами... К событиям 1730 г. понятия такого рода занимали господствующее положение

в политическом лексиконе правящей элиты. Пусть глубина восприятия дворянской средой политических новаций была не столь уж одинакова. Тем не менее утвердившиеся политический лексикон задавал схемы и границы для осмысления властных отношений. При этом он был в полной мере усвоен людьми, которые могли с той или иной степенью успешности претендовать на роль идеологов и играть направляющую роль» [2, с. 297].

В период елизаветинского правления процесс рецепции элементов естественно-правовой теории порождает новые тексты, отражающие отношение элиты к проблеме легитимации власти. М.А. Киселев цитирует манифест о восшествии на престол Елизаветы Петровны Романовой (от 28 ноября 1741 г.). «В нем, после объяснения справедливости династических притязаний Елизаветы на престол, акт смены правителя описывался так: “Видя такая во время того младенца... происходящая к крайнему Нашего Государства разорению и крайняя же разными образы подданным Нашим угнетения и чаемые как внутренние Империи Нашей, так и внешние непорядки и беспокойства, и впредь худыя следствия, и будучи уже и сами Мы... в крайнем опасении, для пресечения всего того, помозию... Бога, и по всеподданнейшему к Нам всех наших верноподданных... прошению Родительский Наш Престол... Воспрять соизволили”» [2, с. 188]. Подобное описание вполне вписывалось в логику петровского механицизма, когда необходимо было лишь заменить определенный элемент в аппарате управления, чтоб он снова начал функционировать должным образом во имя общего блага. И такой механицизм отнюдь не противоречил возможному политико-богословскому обоснованию ее восшествия [2, с. 188]. Авторы считают, что в течение XVIII в. политическая идеология утрачивала элементы богословия, однако процесс перехода к целерациональной идеологической матрице не был линейным.

Процесс рецепции элементов западноевропейского наследия образованной частью общества привел к возникновению возможности усвоения плодов деистических взглядов на политику. «Бог перестал быть творцом политики и социума, он превратился в “деистического Творца”, установившего естественные законы. Теперь именно эти нормы должны были регулировать человеческие взаимоотношения. Отныне люди с помощью разума должны были оценивать соответствие действий власти законам [2, с. 188].

«И – немаловажно подчеркнуть – описание было помещено в официальном документе, который должен был объяснить важнейшее и экстраординарное событие – насильственную смену одного монарха другим. ... Таким образом, к 1762 г. для части правящей элиты Российской империи естественное право перешло из области ученых теорий, которые рассматривались как возможный и допустимый элемент европейского образования, в сферу действенных политических языков и концепции, используемых при



обосновании и направлении своей деятельности. Отсылки к естественному праву переставали выглядеть как внешние украшения, призванные вместе с носимыми париками доказывать политичность России. Теперь к нему обращались вершители судьбы империи при создании нового законодательства, а мыслители дум были готовы им как напоминать о необходимости естественного права, так и предлагать его прочтения» [2, с. 189].

Накопление элементов целерациональной европейской идеологии в массиве российской культуры открыло возможность перевода и усвоения политической теории Монтескье. Однако процесс адаптации естественно-правовой мысли породил и альтернативу в форме моралистических рассуждений о власти. Так, известный российский утопист князь М. Щербатов практически не использовал естественно-правовую терминологию, критикуя власть, с моралистических позиций. Описывая процесс идеологической эволюции, авторы используют понятие «концептуальная ловушка». «Своего рода концептуальная ловушка (универсалистское понимание добродетели, с одной стороны, приверженность европейской идентичности страны, выраженный через науку, искусства и коммерцию – с другой стороны) вела к тому, что российская политическая мысль совершала своего рода маятниковое движение: от Фенелона – к Монтескье и обратно» [2, с. 267].

Ценность исторического исследования М.А. Киселева и К.Д. Бугрова заключается в том, что они анализируют роль лексем, концептов и терминологии в процессе укоренения естественно-правовой идеологии Запада в российском культурном пространстве. Авторы констатируют факт неподготовленности языкового инструментария в эпоху, предшествующую реформам Петра. Отмечается адаптация российским культурным пространством новых политических понятий (в частности, на примере В.Н. Татищева). Однако детальный анализ стадияльной специфики самого процесса адаптации находится вне поля исследовательского дискурса этих историков.

Перспективный исследовательский подход был разработан современным отечественным историком Е. Марасиновой. По ее мнению, цель исследователя заключается в выстраивании диалога с прошлым. «Любое более или менее продуктивное общение предполагает способность чувствовать общую атмосферу, тональность разговора, умение уловить скрытый смысл порой незамысловатых слов собеседника, понимание реальных обстоятельств его жизни. ...Целенаправленная работа с языком источника как раз и является обязательным условием выстроить диалог с прошлым, избежав при этом доверчивого переноса самоописания другой культуры в исследование. Прочтение текста исторического документа с применением специальных подходов, включающих контент-анализ, методы “интеллектуальной” и “понятийной” истории, приемы, использующиеся в антропологии, социальной психологии и литературоведении, особенно актуаль-

ны в отношении русского XVIII века, который условно может быть назван “столетием семиотики” [7, с. 7].

Предметом исследования Е. Марасиновой являются языковые средства легитимации и описания власти. «Безусловно, любое время является переходным, и в языке любой эпохи возникают новые понятия, уходят традиционные, а общеупотребительные наполняются новым смыслом. Однако именно в России XVIII века терминология и символика стали важнейшим орудием социального контроля с стороны власти и реальным подтверждением достигаемых, как правило, с помощью оружия внешнеполитических успехов. ... На протяжении столетия по высочайшему повелению был изменен титул монарха и название страны, варьировались официальные наименования подданных, этикетные обращения к императору и чиновникам, определения различных социальных групп и сословий, один за другим издавались указы о “знаковых” преобразованиях алфавита, летоисчисления, стиля одежды, планировки городов и т. д.» [7, с. 8]. Исследуя процесс изменений в понятийном пространстве описания власти, Е. Марасинова отмечает: «Термин и его трактовка в XVIII веке становятся важнейшим аргументом в политическом споре, средством убеждения и одновременно осмысления действительности. Показательно, что необходимость реформы Сената и учреждения Императорского совета канцлер Н.И. Панин пытался донести до Екатерины II через рассуждения о содержании таких понятий, как “просвещенный монарх”, “самодержавие”, “самовластие”, “кроткий государь” и т. д.» [7, с. 10].

Российский исследователь описывает процесс трансформации понятийного пространства описания власти. «Терминология эпохи постоянно эволюционирует под влиянием многих обстоятельств и в то же время сама является индикатором скрытых метаморфоз в обществе, фактором, влияющим на сознание современников, действенным орудием социального контроля со стороны политической власти. Так, в русском языке XVIII века понятия могли иметь несколько противоположных по смыслу определений, что свидетельствовало о существовании различных “социальных носителей” у одного и того же термина и, следовательно, о скрытой идеологической напряженности в обществе, которая порой перерастала в открытый социальный конфликт» [7, с. 11].

Основным предметом исследования Е. Марасиновой является семантическая и этимологическая эволюция понятий *закон* и *гражданин*. Исследователь предпринимает попытку «углубить представления о механизме и результативности действия социального контроля престола, о самоидентификации власти, о ценностных приоритетах и их отражении в повседневной жизни с помощью лексического анализа понятий *закон*, *подданный*, *гражданин*, а также их антонимов и, напротив, близких по значению терминов» [7, с. 17].

По ее мнению, в течение XVIII в. понятия *гражданство* и *гражданин* приобретают новый смысловой оттенок. Если В.Н. Татищев использовал понятие *гражданство* в значении «общество» (т. е., как правило, совокупность людей, способных держать в руках оружие) [7, с. 366], то для Екатерины Великой термин *гражданство* означал совокупность индивидов, обладавшими не только обязанностями, но и правами. «Термин *гражданин*, характеризующий взаимоотношения личности и государства, актуализируется в политической лексике лишь ко второй половине XVIII века» [7, с. 366]. Характерной чертой дискурса просветителей периода последней четверти XVIII в. является отсутствие антагонизма между терминами «подданный» и «гражданин». Следует заметить, что Е. Марасинова не рассматривает промежуточные этапы процесса культурной эволюции, сделавшие возможным адаптацию нового политического понятия в лексиконе правящей элиты России.

Сходная проблематика являлась предметом аналитического интереса Д.В. Тимофеева. Опираясь на методологические достижения германской и французской историографии, он реконструирует эволюцию социально-политических понятий в России периода последней четверти XVIII в. — первой четверти XIX в. Объектом исследования являются как позитивные, так и негативные коннотации понятий *рабство*, *свобода*, *собственность*, *конституция*, *просвещение*, *революция* [10, с. 41].

Аналитический метод, используемый Д.В. Тимофеевым, включает принцип системности, базирующийся на признании существования логических и ассоциативных взаимосвязей между ключевыми социально-политическими понятиями, которые могут использоваться людьми для выражения отношения к различным явлениям окружающей их действительности. Подобный подход требует реконструкции связей между различными понятиями. «Не одно отдельное понятие является предметом устремлений истории понятий, а весь понятийный аппарат, со всеми его внутренними взаимосвязями» [10, с. 32]. Д.В. Тимофеев полагает, что историк должен выдвинуть четкие критерии, в соответствии с которыми «будет происходить формирование комплекса исследуемых понятий» [10, с. 32]. «Одним из таких критериев, например, может быть включенность понятия в семантическое поле какой-либо одной проблемы, явления или процесса» [10, с. 33]. И далее: «Все исследуемые в настоящей работе понятия были неотъемлемым элементом заимствованных извне либеральных концепций и активно использовались современниками при описании различных вариантов решения наиболее актуальных социально-политических и экономических проблем» [10, с. 33]. Гипотезируя обозначенный принцип, автор вносит заметный вклад в историографию заимствования западноевропейских понятий в России.

Важным элементом методологии В.Д. Тимофеева является принцип «временных горизонтов». «Теоретическим его обоснованием является ут-

верждение о многослойности темпоральной структуры основных социально-политических понятий: в каждом из них зафиксирован сформировавшийся в результате освоения окружающей действительности социальный опыт и, одновременно, представления о возможных перспективах развития общества» [10, с. 33]. Ссылаясь на работы германского исследователя Р. Козеллека, российский историк пишет о наличии в политическом или социальном языке «многослойной темпоральной внутренней структуры» [10, с. 33]. Понятия могут отсылать к современным реальностям, либо в прошлое, либо в будущее: «значение понятия может представлять собой смешение прошлого опыта, современной реальности и ожиданий от будущего» [10, с. 33].

Использование понятия «временных горизонтов» позволяет переосмыслить процесс рецепции западноевропейских терминов российским культурным пространством. Методологически данное понятие связано как с «пространством опыта», так и с «горизонтом ожиданий». Это обусловлено изменениями в политической, социальной, экономической и культурной сферах, которые оказывали непосредственное влияние на корректировку содержания и появление новых, конкурирующих с известными ранее значений. «Благодаря этим изменениям социально-политические понятия приобретали многозначность и становились не только инструментами описания наличной действительности, но и способом выражения представлений о том, каким должно быть общество в будущем» [10, с. 33]. Благодаря понятиям, отражающим «пространство опыта», общество осмысливает свой исторический опыт, формируется и поддерживается национальная идентификация.

«Несколько другое наполнение в содержании социально-политических понятий имеет так называемый “горизонт ожиданий”, который в большей степени отражает не реальность, а своеобразный проект ближайшего будущего» [10, с. 35]. Российский исследователь не считает горизонт ожиданий полностью оторванным от реальности. В большинстве случаев проекции будущего возникали либо как результат критики окружающей действительности, либо в силу наличия у людей стремления закрепить и продолжить позитивные, по их мнению, тенденции в развитии современного им общества. Побочным продуктом описанного процесса являлось появление утопического романа.

По мнению В.Д. Тимофеева, любой социальный термин функционирует в трех культурных средах. Автор пишет о наличии «взаимосвязи между содержанием текста, поведением автора и окружающей его социальной реальностью» [10, с. 37]. Российский историк не использует понятие *реконструкция*, в его исследовании фигурирует термин *адаптация*. «В рамках исследования процесса адаптации в России европейских прин-

ципов свободы личности, неприкосновенности частной собственности, верховенства закона, разделения властей и равенства гражданских прав совмещение диахронического и синхронического подхода, на мой взгляд, возможно посредством сравнения того, какие значения исследуемых политических понятий были известны российским подданным второй половины XVIII в., с теми значениями и контекстами употребления, которые одновременно использовались в законодательных актах, материалах периодической печати, документах делопроизводства, научно-популярных произведениях, учебных пособиях и других текстах, созданных в первой четверти XIX в.» [10, с. 37].

Следует заметить, что теоретический подход В.Д. Тимофеева обладает значительной ценностью, однако хронологические рамки исследования охватывают лишь период последних десятилетий XVIII в. Анализируя смысловые значения понятий, российский историк пишет о наделении устоявшихся терминов новыми значениями и смыслами. Однако он не склонен анализировать ситуацию «стерильного» семиотического пространства, когда иностранные по происхождению термины просто не имеют русскоязычных эквивалентов.

Анализ текстов дореволюционных, советских и постсоветских историков и литературоведов позволяет сформулировать вывод относительно исследовательского потенциала подходов отечественных авторов к проблеме рецепции философских и политических идей на русской почве. Специфической чертой дореволюционной историографии являлось то, что процесс адаптации русским образованным сообществом смыслов европейских рациональных и мистических учений описывался в терминах прямого механического заимствования их элементов. Советские историки и литературоведы также не были склонны анализировать процесс терминологической рецепции. Исключение представляет собой подход Г. Гуковского, высказавшего предположение о наличии взаимосвязи между процессами терминологической эволюции и возникновением способности к передаче текстом политических смыслов. Следует заметить, что в 30-е гг. XX в. гипотеза советского филолога не могла лечь в основу новой истории идей.

Подлинная революция в историописании наступает в постсоветский период под влиянием работ Ю.М. Лотмана. Появляются работы Е. Марасиновой, К.Д. Бугрова, М.А. Киселева, Д.В. Тимофеева. Историки постсоветского периода стремятся реконструировать феномен идеологического и социально-политического детерминизма процессов рецепции политических и философских понятий иностранного происхождения в России XVIII столетия. Однако процесс формирования смысловых полей, представляющих собой базис адаптации понятий, находится за рамками исследовательского дискурса современных отечественных историков.

### Литература

1. *Артемьева Т.В.* От славного прошлого к светлому будущему: философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. – СПб.: Алетейя, 2005. – 495 с.
2. *Бугров К.Д., Киселев М.А.* Естественное право и добродетель: интеграция европейского влияния в Российскую политическую культуру XVIII века. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 480 с.
3. *Вернадский Г.В.* Русское масонство в царствование Екатерины II. – СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1993. – 567 с.
4. *Гуковский Г.* Очерки русской литературы XVIII века. – Л.: Художественная литература, 1938. – 314 с.
5. *Дербов А.А.* Общественно-политические и исторические взгляды Н.И. Новикова. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1974. – 369 с.
6. *Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г.* Запретная мысль обретает свободу. – М.: Наука, 1966. – 509 с.
7. *Марасинова Е.* «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: очерки истории общественного сознания. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 509 с.
8. *Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.* Революционная традиция в России. – М.: Мысль, 1986. – 343 с.
9. *Пытин А.Н.* Масонство в России, XVIII и первая четверть XIX века. – М.: Век, 1997. – 497 с.
10. *Тимофеев Д.В.* Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского поданного первой четверти XIX в. – Челябинск: Энциклопедия, 2011. – 456 с.
11. *Шпет Г.Г.* Сочинения. – М.: Правда, 1989. – 586 с.

Статья поступила в редакцию 01.10.2020.

Статья прошла рецензирование 22.10.2020.

## RUSSIAN ENLIGHTENMENT AS A SOURCE OF NATIONAL PHILOSOPHY FORMATION

**Kokovin Ivan,**

*Cand. of Sc. (Philosophy),*

*Associate Professor at the Philosophy and Humanities Department,*

*Novosibirsk State University of Economics and Management,*

*56 Kamenskaya Street, Novosibirsk, 630099, Russian Federation*

*Ivan.kokov80@gmail.com*

### Abstract

The study is devoted to the philosophical understanding of the problem of the cultural origins of Russian philosophy. In the author's opinion, the source of diversity of modern approaches to the phenomenon of Russian Philosophy is, first of all, the absence of a unified methodological approach. The diversity of research on the phenomenon of the Russian philosophy origins is also a consequence of research susceptibility to certain methodological influences. The paper aims to identify a number of philosophical, historical, literary approaches to the problem of the genesis of the eighteenth century Russian Enlightenment. It is necessary to clarify the mechanisms and procedures for the reception of Western European ideas and concepts by Russian Enlightenment during the eighteenth century. On the basis of adaptation of natural law terms, the author considers certain trends in the theory of reconstruction of the Enlightenment phenomenon in Russia. He reveals a number of significant features of the process of reconstruction of the Enlightenment ideology formation on Russian soil, including the idea that European concepts and theories are assimilated by the domestic semiosphere in the form in which they existed in the culture of the West. The author highlights the idea, that researchers were convinced that Russia of the XVIII century already had a national philosophy. The paper also draws attention to the lack of analytical interest in the problems of transformation of the language of expression of political phenomena. In the same row, there is also the idea that the process of reception of the enlightenment heritage of the West had a revolutionary, not an evolutionary, specificity, and was devoid of cultural prerequisites.

Basing on the material of historical and historical-philosophical studies, the author considers the possibilities of constructing a methodologically integral reconstruction, chronologically covering the entire period of the XVIII century. The research methodology is based on the approach that includes an analytical description of the problems of the thematic fields of discourse, concepts and theories of the Enlightenment on the Russian soil. The result of the analysis is the systematization of contradictions in the process of analyzing the phenomena of the Russian Enlightenment in the XVIII century.

**Keywords:** Russian Enlightenment, national philosophy, adaptation of political concepts, history of terms, ideology of Enlightenment, socio-cultural background.

**Bibliographic description for citation:**

Kokovin I. Russian Enlightenment as a Source of National Philosophy Formation. *Idey i idealy = Ideas and Ideals*, 2021, vol. 13, iss. 2, pt. 1, pp. 213–236. DOI: 10.17212/2075-0862-2021-13-2.1-213-236.

**References**

1. Artem'eva T.V. *Ot slavnogo proshlogo k svetlomu budushchemu: filosofiya istorii i utopiya v Rossii epokhi Prosveshcheniya* [From the Glorious past to the Bright future]. St. Petersburg, Aleteiya Publ., 2005. 495 p.
2. Bugrov K.D., Kiselev M.A. *Estestvennoe pravo i dobrodetel': integratsiya evropeiskogo vliyaniya v Rossiiskuyu politicheskuyu kul'turu XVIII veka* [Natural Law and Virtue. The integration of European influence into XVIII century Russian political culture]. Ekaterinburg, Ural Federal University Publ., 2016. 480 p.
3. Vernadskii G.V. *Russkoe masonstvo v tsarstvovanie Ekateriny II* [Russian Freemasonry in the reign of Catherine II]. St. Petersburg, Novikov N.I. Publ., 1993. 567 p.
4. Gukovskii G. *Ocherki russkoi literatury XVIII veka* [Essays on Russian literature on XVIII century]. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1938. 314 p.
5. Derbov L.A. *Obshchestvenno-politicheskie i istoricheskie vzglyady N.I. Novikova* [Social-political and historical views of N.I. Novikov]. Saratov, Saratov State University Publ., 1974. 369 p.
6. Karyakin Yu.F., Plimak E.G. *Zapretnaya mysl' obretaet svobodu* [Forbidden thought gains freedom]. Moscow, Nauka Publ., 1966. 509 p.
7. Marasinova E. *"Zakon" i "grazhdanin" v Rossii vtoroi poloviny XVIII veka: ocherki istorii obshchestvennogo soznaniya* [Law and citizen in Russia in the second half of the XVIII century: essays on the history of public conciousness]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2017. 509 p.
8. Pantin I.K., Plimak E.G., Khoros V.G. *Revolutsionnaya traditsiya v Rossii* [A revolutionary tradition in Russia]. Moscow, Mysl' Publ., 1986. 343 p.
9. Pypin A.N. *Masonstvo v Rossii, XVIII i pervaya chetvert' XIX veka* [Freemasonry in Russia. XVIII and first quarter of XIXth century]. Moscow, Vek Publ., 497 p.
10. Timofeev D.V. *Evropeiskie idei v sotsial'no-politicheskom leksikone obrazovannogo russiskogo podannogo pervoi chetverti XIX v.* [European ideas in the socio-political vocabulary of an educated Russian citizen of the first quarter of the XIX century]. Chelyabinsk, Entsiklopediya Publ., 2011. 456 p.
11. Shpet G.G. *Sochineniya* [Essays]. Moscow, Pravda Publ., 1989. 586 p.

The article was received on 01.10.2020.

The article was reviewed on 22.10.2020.